

кончать жизнь самоубийством», – смеется Сталин. И дает задание прочесть на общем собрании писателей Москвы доклад о новой конституции. «Никто лучше вас этого не сделает».

Кольцов не кончил жизнь самоубийством. Он с триумфом прочел доклад. Поздно вечером вернулся в «Правду». За ним в его кабинет в «Правде» пришли чекисты. Два года на Лубянке. Два года пыток с требованием признаться, что он немецкий шпион. И расстрел 2 февраля 1940 года.

Одним из первых реабилитированных после смерти Сталина был Михаил Кольцов.

Его книги издаются и переиздаются. А вот про фельетон о Льве Троцком, опубликованный в киевском журнале «Куранты» в 1918 году, вроде бы забыли.

Может, самое время напомнить...

Михаил Кольцов

Красный Китеж

Троцкий

I

У Намюра тяжело ухают пушки. Валлония и Фландрия распротерты в пыли и крови. Воины Бельгии, Тили Уленшпигли двадцатого столетия, в серых кепи и с вещевыми мешками устало отодвигаются вглубь к Антверпену. Париж молчит, осенние деревья в Венсенском парке тяжело шумят. В Café de la Paix – грохот выстрела и падающего тела. Это Жан Жорес склонился простреленной широкой старой грудью на мраморный столик. Первый и последний пацифист великой войны.

На бульварах жутко громят немецкие магазины. В палате жужжит оппозиция. Иностранцы корреспонденты покупают у уличных Гаврошей ворохи вечерних газет и шлют длинные срочные телеграммы.

Русские журналисты тоже мобилизованы. Длинные, тоскливые, как изгнание евреев из Иерусалима, эмигрантские споры стали жарче и мучительнее. Свободное от споров, митингов и политических резолюций время все взрослое население русской ко-

лонии в Париже тратит на писание корреспонденций и впечатлений. Горы впечатлений! Дождь из впечатлений! Заказные пакеты везут впечатления парижских изгоев в русские газеты.

Лучше всех впечатления у Антида Ото. Умнее всех статьи у Антида Ото. Содержательнее всех корреспонденции у Антида Ото. Они растекаются широкими и красноречивыми фельетонами на столбцах «Киевской мысли» и «Одесских новостей». Читатели от Могилева до Евпатории зачитываются Антидом Ото. Они видят наяву, в пестрых и ловко сделанных картинах, в умелых характеристиках и сравнениях всю великую борьбу на Западе. Они ясно представляют себе, как кипит портовая жизнь в Марселе, как умирают люди на Марне, как волки когтят в горах альпийских стрелков, как маршируют по французским улицам колониальные войска.

А сам Антид Ото в это время колесит по всей Франции, перескакивает с поезда на поезд. Для своей газеты он повсюду успевает побывать – этот быстрый и обходительный журналист с парламентской бородкой и ловкими движениями. В Булони и в Кале, во Фландрии и в Вогезах, на артиллерийских заводах и в мастерских для искусственных носов. Антид Ото предприимчив и наблюдателен.

Вот госпиталь в великосветском отеле на Елисейских Полях. Антид Ото следит за тем, как «аристократка, дочь генерала республиканской гвардии, величественная блондинка г-жа Н., не дрогнув, выполняет самые щекотливые обязанности инfirmьери, делает солдатам желудочные промывания и, держа в руке сосуд, сохраняет *grand air de dignité*, точно героиня классической трагедии Расина». Ему нравится и профессиональная сиделка – Леони, корсиканка, очень красивая мужественной красотой. «Надеть ей на голову фригийский колпак, и она могла бы быть образом республики»...

А вот «молодой араб, которого вначале сильно лихорадило, и к нему на ночь посадили наедине одну из великосветских сестер. На другое утро она решительно отказалась продолжать этот опыт. Пришлось посадить англичанина-санитара, бывшего циркового атлета, а предприимчивому арабу тубиб (врачиха) погрозила пальцем»...

А вот красивое пятно. «Смуглые головы в тюрбанах торчат изо всех окон и дверей. Форма хаки ярче подчеркивает экзотический тип азиатских солдат, призванных спасти французское побережье от немецкого нашествия»...

А вот англичане у Булони. «Почти из-под каждого синего зонтика наряду с фигурой торговки торчат спина и две крепкие ноги цвета хаки. Вдоль колючей проволоки раздается возбужденное взвизгивание. Несколько десятков шагов по шоссе, и я убеждаюсь, что Булонь выслала на эти передовые позиции цвет своего женского сословия. Но, с другой стороны, и англо-саксонская раса представлена здесь как нельзя лучше. Ни следа так называемой английской флегматичности»...

А вот те же англичане играют в футбол: «Англичане мигом сделали стойку и вонзились глазами в мяч. Р-ррраз! Капрал хватил по мячу носком»...

– Р-ррраз! – кричит и Антид Ото за футболистами. Ему нравится спорт, спортсмены и спорт на войне. Передавая панегирическую биографию сэра Джона Дентона Пинкстона Френча, «члена знаменитой семьи графства Гальвей, провинции Коннаут», он с увлечением рассказывает, как Френч под бурскими снарядами, не моргнув глазом, рассуждал с военным корреспондентом о плохом освещении, мешавшем делать фотографические снимки. В этой кокетливой генеральской бравате Антид Ото видит «военачальника, скрывающегося за лихим спортсменом, за смельчаком, верящим в свою звезду».

Острое, красивое нравится ему. Он тоскует по интересным жестам и значительным фразам. Он чопорно приподнимает плюшевую эмигрантскую шляпу перед постелью старого капитана, который, умирая, посылает на смерть и двух своих сыновей, но гораздо больше нравится ему маршал Жоффри, который «прибыл домой на Рождество в штатском платье, простой, как всегда. Никто не скажет, что в его руках судьба Франции. Но зато он помолодел на 10 лет, уверяю вас»...

Его тоскливому, неумному, как сухая губка, честолюбию, которое порой палящим жаром прет из строки, нужны новые атрибуты. Остановившись где-то на биографии Гаврилы Принципа, застрелившего Фердинанда Австрийского, он полу-

презрительно замечает, что эпоха «пистолетных героев» уходит в прошлое.

Ему нужен крепкий двенадцатидюймовый железобетонный героизм. И он ждет этого, путешествующий фельетонист с беспокойной бородкой.

II

На белой дубовой двери – старая круглая жестянка: «Классная дама». И новенький, наскоро состряпанный плакат: «Комиссариат военных дел П.Т.К.».

Где прежняя жиличка высокой строгой комнаты с целомудренно выбеленными стенами и широкими окнами на Неву? Уехала вместе со своими питомицами в Новочеркасск или где-нибудь в Елабуге отдыхает от петроградских ужасов и страстей?

Новые люди в Смольном.

У стены, подле входа в «военный комиссариат» – тесное кольцо солдат, матросов, штатских. Лица у всех – безучастные, окаменевшие, серые от усталости и бессонницы. Но глазами все едят комиссара по военным делам.

Народному комиссару – не впервые. Он привык выдерживать взгляд толпы. А как должно быть трудно выдерживать его на себе – благоговейный и испытующий, молящий и недоверчивый взгляд!

Троцкий привык. Он и сам каждую минуту в наступлении. Неторопливо шевелит тонкими губами и одновременно пощупывает глазами лица собеседников. Тайный вызов: Верите? Бойтесь?

Солдатам Троцкий чужд, нов и интересен. Таких они еще не видели. Подвойские и Мураловы, Зорины и Дыбенки – все свои, понятные, взнесенные на высоту стихийной красной волной, выброшенные из недр революции, из ее кроваво-огненного нутра. Лениных и Бонч-Бруевичей они тоже знают – многоречивые интеллигенты, «учителя» в спинжаках давно ходят в народ и плохо ли, хорошо ли – знакомы с ним. Такие, как Троцкий, еще не являлись...

Он пришел извне, снаружи. Пришел к революции, а не вышел из нее. Не русский и не иностранец. Как будто еврей, но нет – кажется, не еврей.

Со своего лица, резко семитического, он смел все национальное, все личное, свое. В умных злых еврейских глазах поселил пустоту. От курчавой бородки оставил только один мефистофельский клочок – старый знак международных авантюристов.

Он космополит. Он играет в общечеловечность. В этом его выигрыш. Русским людям чужд интернационализм. Во всей русской литературе нет ни одного героя-интернационалиста. И десятки космополитов – людей без отечества.

Солдаты свергли Николая, своего знакомого. Свергли Керенского, своего. А поставили себе – чужого интернационального человека с пустыми глазами и трагическим клочком на подбородке.

Они любят Троцкого. И его глаза. И его голос – пронзительный, скрипучий, скребущий гвоздем по стеклу.

Когда Троцкий говорит, это вулкан, изрыгающий ледяные глыбы. Это Анатэма, пришедший мириться с людьми. Что он им, умный, отважно-находчивый еврей, этим славянам, неожиданно сырым, лесным, скифам?

Чужое – дорого. Они верят Троцкому. Он им нужен. Он даст хлеб и мир.

...Солдаты не читали статей и фельетонов Троцкого, они не знают, что Троцкий обманул их.

Что он не всечеловеческий, а свой, из Бахмута или Елизаветграда. Что он не вулкан, а хороший фельетонист. Они не знают Троцкого – газетного, сначала умеренно-пылкого автора «Писем» в меньшевистской «Искре». Потом изящного, речистого, с хорошими манерами Антида Ото из «Киевской мысли» и «Одесских новостей». Того, который был удобен и портативен. И свободно укладывался в нижний фельетон «Киевской мысли». Который не старался дышать лавой, а был очень мил и разговорчив, и не было у него в глазах вселенской пустоты, этого веселого Троцкого-фельетониста.

Вообще, они разнятся характером. Троцкий-революционер и Троцкий-фельетонист. Иногда они даже мешают друг другу.

Бывает, что Троцкий-фельетонист нескромен в отношении Троцкого-революционера.

Недавно в «Известиях» Троцкий гневно осуждал и упрекал всех тех, кто «не хочет уйти в историю» с трагической печатью

Робеспьера. Это не по-товарищески. Если Троцкий-революционер жаждет «трагической печати Робеспьера», то зачем Троцкому-фельетонисту об этом разбалтывать?

Ведь от Троцкого-революционера ждали не трагической печати, а мира и хлеба.

